

ЩЕГОЛ

Если б я встретил его теперь, четверть века спустя той эпохи, я безошибочно узнал бы его даже издали, хотя был он неприметен: среднего роста, коренаст, седоус, типичный мазовшанин¹, холоп напополам с барином и, кажется, все в той же красной фуражке, незаметно выгорающей от времени. Неизменно в фуражке, хотя я знал, что без нее он совершенно лыс. Лысина мне запомнилась лучше всего, по контрасту с крепким загаром лица человека, большую часть суток пребывающего на свежем воздухе.

Если б я встретил его... Но не встречу. Он пропал на последнем обороте пластинки. Я пробежал наискосок через опустевшую в панике мостовую Краковского предместья² напротив отеля «Бристоль»³, прямо перед машиной с ревущей сиреной. С тротуара обернулся, за сиреной мостовую обмело клубами пыли, пылью покрылся и подъезд к отелю, и компания стоявших под навесом. Больше я его не видел.

И не увижу. А ведь он все эти долгие годы терпеливо сидел на своей лавочке, возле которой на бесшумных шариковых подшипниках вращалось колесо моей варшавской жизни. Или пластинка... Оно представляется мне граммофонной пластинкой, по которой я передвигался, как игла, с дорожки на дорожку, от края все ближе к центру, от центра все ближе к концу. Он был при первом звуке, проигранном ею для меня (не забуду: стук лошадиных копыт по мокрой деревянной мостовой

¹ Мазовшанин – житель Мазовии, исторической области в центре Польши, главный город которой – Варшава. – *Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. пер.*

² Краковское предместье – улица в центре Варшавы; связывает расположенный на берегу Вислы исторический Старый город с современным центром столицы.

³ Отель Бристоль стоит на прежнем месте до сих пор. Сегодня это самая дорогая и старая (функционирует с 1901 г.) гостиница Варшавы.

на Маршалковской¹) и при последнем: завывающей на Краковском предместье сирене воздушной тревоги. Все эти долгие годы, когда я проплывал мимо его лавочки, он, преклонный наблюдатель моего движущегося по направлению к смерти времени, снимал свою фуражку мухоморного цвета, трогательно сверкая круглой лысиной. Остановил он мой лонг-плей² на последнем обороте, на панической перкуссии зенитных пушек и басы-профундо эха бомбы, разорвавшейся где-то в стороне Окенче или Воли³.

Последний звук, оставшийся в ушах от предыдущей пластинки: шипящий в железнодорожном тупике варшавского вокзала паровоз, треск открывающихся дверей вагонов. И всюду этот польский язык.

Выхожу на перрон, все еще со смутным ощущением, что это какой-нибудь пригородный вокзал под Варшавой; из окон вагона подъезд к столице выглядел совсем не презентабельно. Вокзал смахивал на окраинную владивостокскую Первую Речку⁴, а оттуда не ближний свет до сити, центра города. Первый вопрос билетеру у выхода: «Это Варшава?» В ответ бесцеремонное: «А не видно, что Варшава?»

Не видно. Багаж не забираю, а то куда же с ним? Два тяжелых чемодана, куда? С ручной кладью иду за людьми по вестибюлю, который называется здесь залом ожидания, озираюсь в поисках таблички «Money exchange», виденной мною на всевозможных сухопутных и морских вокзалах. Ничего подобного. Выхожу на лесенку у входа. Запах города. Первый звук: лошадиные копыта о мостовую.

С неба сыплется мокрая пыль, дождь-не дождь, туман-не туман. Конец мая, а холодно. Я еще не знаю, что здешний май – не лето, изморось называется грибным дождиком, а две улочки, пересекающиеся у вокзала, напомнившего мне Первую Речку – это Маршалковская и Иерусалимские аллеи, главные городские магистрали. Безликие каменные дома по обе стороны мостовой, тусклые ряды фонарей. Запах.

¹ Улица Маршалковская – одна из центральных улиц Варшавы.

² *Long-play (LP, англ.)* – долгоиграющая пластинка с записью на 33 оборота в минуту, предназначенная для проигрывания на граммофоне, а также название формата такой звукозаписи.

³ Окенче, Воля – районы Варшавы.

⁴ Первая Речка – железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги, на которой останавливаются городские электропоезда; сортировочная станция.

У любого большого города, как у человека, есть собственный запах. Тут попахивало затхло и убого, намокшим деревом, грибной сыростью гниющих досок. На мостовой вместо камня или асфальта – пропитавшаяся водой деревянная кладка. Вот чем пахнула на меня Варшава.

С чувством все большей беспомощности я спустился по ступенькам на тротуар. Первые варшавские минуты: холодно и сыро, запах прелой древесины. Через десять с лишним лет эти первые минуты сложатся с последними мгновениями моей межвоенной Варшавы, будет жара, будет смрад бензина на площади у Президентского дворца и – та же беспомощность на пороге грядущего Неизвестного. А на заднем плане этих минут, первых и последних, все тот же, нисколько не изменившийся, и холопского, и барского вида, в той же красной фуражке, с той же дружелюбной усмешкой – варшавский посыльный, «щегол»¹. Он встал с лавочки у стены, подошел и завел пружину. Застучали о деревянную мостовую лошадиные копыта, пластинка медленно двинулась в круговую. Потекло мое варшавское время.

За все эти годы я обменялся с ним едва ли несколькими фразами, как раз при первой встрече. Единственного нашего словесного диалога я, конечно, точно не помню, но смысл его был таков: «Куда отнести ваш чемодан, *шановны пан*?» (Я впервые слышал это обращение). Я поблагодарил, отнесу сам – в бумажнике у меня были только крупные долларовые банкноты, так что заплатить за услугу я не мог. «Есть поблизости какая-нибудь недорогая гостиница?» «Конечно, *шановны пан*, есть». Он указал рукой налево, подвел меня к краю тротуара, показал на две пересекающиеся Маршалковскую улицы. «Первая это Видок, а следующая – Хмельная, там есть гостиницы, а недалеко, за угловым

¹ Профессия посыльного появилась в столице Польши в 1878 г. и просуществовала вплоть до Второй мировой войны. В отсутствие телефонов посыльные пользовались большой популярностью, их главным занятием была быстрая доставка записок, писем и посылок из рук в руки, другие мелкие поручения: например, покупка билетов в театр или доставка багажа. Посыльные обычно ожидали «клиентов» на скамьях у вокзалов, гостиниц, на оживленных перекрестках в центре города. В XX в. функционировало два агентства, работники которых носили фуражки с красным околышем, ставшие отличительной чертой их рабочей формы. Из-за цвета этих головных уборов их прозвали «щеглами».

² «*Szanowny panie*» – в польском языке вежливое, формальное обращение к лицу мужского пола.

домом, отель «Роял» под номером тридцать один, *шановны пан*». Он смерил меня взглядом с головы до ног, исподтишка и со знанием дела. Конечно же, заметил, что что одет я не по-здешнему (борсалино¹ и плоский чемодан из Триеста, клеенчатый плащ из Вены). Тактично присо-вокупил аллюзию-совет, чтобы не дать всяким там обвести себя вокруг пальца, *шановны пан*. Я поблагодарил. Борсалино и красная фуражка обменялись салютами.

Каньон Хмельной, те же запах, сырость, чуждость. Гостиница «Роял», хмурый толстый портье, с подозрением листающий мой триестский консульский паспорт, замысловатые графы регистрационной анкеты. Имя и фамилия, дата и место рождения, и так далее, и тому подобное. В одной графе нужно было определить тип проживания – постоянное или временное. Секунда глубокого колебания, перо само вывело: «Временное».

Горничная снимает с гвоздя ключ на кольце, она покажет номер.

В 1949 году я писал для «Курьера польского» роман с продолжением, действие которого частично проходило в Нанте. Мой вымышленный герой, отставной капитан Гриффитс, снимает комнату в гостинице. Этот эпизод – верный отголосок моего отеля «Роял». Вот...

«... она сняла с крючка ключ на латунном кольце и проплыла к узким ступенькам в глубине вестибюля, одаривая капитана Гриффитса приглашающей улыбкой. На крутой лесенке, едва освещенной моргающей газовой лампой, воняло кошками. Было душно и нехорошо. Он взбирался и взбирался по трескучей лестнице, вслед за пыльным задом консьержки. В комнате-клетушке она повернула выключатель. Астматическая лампочка осветила интерьер: кровать, столик, накрытый плюшевой салфеткой, стул, эмалированный умывальник и биде в углу.

– Voilà! – она обвела пухлой рукой гостиничные хоромы – C'est bien ici. N'est ce pas?

– Bien², – буркнул он.

Помешкав, она вышла. Наконец один. Он с облегчением снял плащ и кепи, расстегнул воротничок мундира. Душно, очень душно. Приблизился к окну с широким подоконником, отодвинул пыльную занавеску и открыл настежь рамы. В лицо дунул сырой ветер. Блестящие крыши лоснились матовой сталью...»

¹ Борсалино – фетровая шляпа с широкими полями; название, ставшее нарицательным, происходит от итальянской фабрики, выпускавшей шляпы с середины XIX века.

² «Здесь хорошо. Не так ли?» – «Хорошо» (*фр.*)

Было очень душно и нехорошо. Я стоял у окна с видом на мокрые крыши и втолковывал себе, что это Варшава. Эти крыши – Варшава, эта плюшевая салфетка – Варшава, эта подозрительная кровать – Варшава, глухие неразборчивые голоса, гудящие во дворе-колодце – Варшава. И угнетающее сознание, не имеющее никаких логических оснований, что я здесь останусь. «Временное» – написалось само, перо написало, не я. Что-то такое произойдет, и я останусь.

Я стоял у окна с видом на мокрые, лоснящиеся крыши Варшавы, на стыке двух своих собственных существований, еще вибрируя эхом вращения колеса, замершего вместе с колесами локомотива, и пока не ощущая движения пластинки, на которую пересел. Время остановилось на цифре, напоминающей по форме букву «N», на первой букве в названии пронзительной тоски, имя которой – ностальгия.

На стыке двух собственных существований, разделенных конрадовской теневой чертой¹. Пожалуй, что тогда я над этим не раздумывал и сознательно не планировал, но может, и было искушение: взобраться на узкий пыльный подоконник, развести в стороны руки, отвесно рухнуть вниз, на черное дно двора-колодца, наперерез самой темной в моей жизни тени. Возможно, что какую-то долю секунды такое искушение было, но на страже его наверняка стоял инстинкт самосохранения.

Самая темная черта... А ее отражение повторилось десять с лишним лет спустя совсем в другом месте, в абсолютно иной обстановке, в определенный день и час. Шестнадцатого сентября 1939 года я смотрел с высокого холма на долину, где за Горынью² вилось шоссе. Жаркая духота самого погожего польского сентября. По шоссе под порывевшим небом непрерывно тянется шнур машин, устремляющихся к Залещикам³. Я смотрю на это с каменным сердцем, с каменным сердцем...

¹ Имеется в виду книга польско-британского писателя Джозефа Конрада «Теневая черта. Признание» («The Shadow Line: A Confession»), впервые опубликованная в 1917 году.

² Горынь – река на территории современных Украины и Беларуси, правый приток Припяти.

³ Залещики – украинский город, расположенный на левом берегу реки Днестр. В 1939 г. после нападения Германии на Польшу в Залещиках некоторое время находилось польское правительство, позднее эвакуировавшееся в Англию.

Но тогда, у окна, на одном из верхних этажей гостиницы «Роял» я, конечно, не знал, что с таким же каменным сердцем, как теперь на лоснящиеся варшавские крыши, я буду смотреть на рыжие клубы пыли над далеким шоссе. Я стоял долго, и столь же долго стрелка часов стояла на букве «N»... Наконец, я отлип от подоконника, выудил из чемодана остатки чешских кренделей, купленных в Праге или Богумине, запил несколькими глотками затхлой воды из щербатого кувшина. Это тоже Варшава, первый варшавский ужин. Я отвернул плед на кровати, на простыне различимы были пятна и следы от клопов. И это Варшава: клопы. В мокрой тишине отражался от окна стук лошадиных копыт о мостовую.

На следующий день поздним утром, кое-как побрившись и умывшись, я вышел из «Рояла» на улицу в направлении вокзала. Однако же, май есть май, и днем перекресток двух главных городских магистралей выглядел как-то более по-столичному. Из-за зелени небольшого скверика выглядывала кровля какого-то зданьца с неясным намеком на китайскую архитектуру (а это была просто общественная уборная). Башенка на угловом здании железнодорожного вокзала чем-то напоминала мавританские строения – в Александрии мне запомнился похожий силуэт минарета на фоне неба. Магазины, витрины, старые трамваи, «третий», «семнадцатый». У «третьего» был открытый прицепной вагон с поперечными сиденьями, как в Коломбо. Прицепной вагон «семнадцатого» был очень забавным, похожим на дилижанс, в него надо было подниматься со стороны мостовой по лесенке. Всюду польский язык. Среди прохожих много молодых людей в белых конфедератках с малиновым околышем. Какое-то формирование, но какое? (через год я сам буду носить такую братнякскую¹ фуражку студента университета). Инстинкт привел меня к пункту обмена валют на Волянской, напротив вокзала. Наконец, в кармане у меня были польские марки². Первое приобретение: в ближайшем писчебумажном магазине, открытка с памятником Мицкевичу.

¹ Братняк – разговорное название бывших студенческих организаций «Братская помощь студентам», существовавших в нескольких крупнейших ВУЗах Польши.

² Польская марка – денежная единица Польши в 1917–1924 гг. и Срединной Литвы в 1921–1922 гг., делилась на 100 фенигов. После 1924 г. заменена польским злотым.

У входа в вокзал сидел на лавочке мой вчерашний барич. Борсалино и красная фуражка обменялись салютами. Его и моя дружелюбные усмешки. И с тех пор при каждой мимолетной встрече, многие годы, салюты и усмешки сопровождались молчаливым диалогом. А звучал он примерно так: «Ну как, *шановны пан*, хорошо ли спали?» «Да, хорошо, хорошо, только уж эти ваши клопы...»

Во время завтрака в привокзальном ресторане я написал домой, в первый и последний раз обращаясь к отцу (все письма родителям я почему-то писал и адресовал только матери). Это было отцу. Я хотел доставить ему особенное удовольствие: письмо от сына из Варшавы. Из Варшавы!

Эту открытку мать привезла мне назад. Отца уже не было в живых. Надпись на ней была лаконичной, но ведь дело было в удовольствии, в самом факте, что из Варшавы. Она гласила: «Дорогой отец! Я в Варшаве, цел и здоров. Это *чудестный* город. Сын».

Знал же я орфографию, совершенно не понимаю, какое затмение ума или злой дух заставили меня написать это несчастное «чудестный» – наверное, то был подсознательный сигнал, что с чудесностью Варшавы что-то не так. А когда открытка вернулась, я узнал, до какой огромной степени она не доставила удовольствия отцу. Прочитав, он швырнул ее на письменный стол. Он не предполагал, – как он выразился, – что я не знаком с польским правописанием. Он был очень расстроен. Неважно, что карточка из Варшавы, что от меня: «т» затмило собой все. Первое и последнее мое письмо отцу.

Я написал открытку. Расспрашивая прохожих, добрался до почты на площади Варецкого, купил марку, опустил в ящик ложь о Варшаве, с чувством полной бессмысленности происходящего. Ведь мой Владивосток сейчас дальше, чем луна. Едва перевалило за полдень, а там уже ночь. Родители поужинали и готовятся ко сну. Над Золотым Рогом¹ горят майские звезды, а на рейде топовые огни пароходов. В широкие открытые окна моего дома вливается океанская ночь.

Стало быть, первый наш с ним диалог был про сон и про клопов.

¹ Золотой Рог – бухта к северу от пролива Босфор Восточный Японского моря, по берегам которой расположен город Владивосток. Здесь находятся порты, судоремонтные предприятия, через бухту проложен вантовый Золотой мост.

Я продвигался с дорожки на дорожку, все ближе к центру, от центра все ближе к концу пластинки с финальным стаккато и басом-профундо. Он неусыпно следил за вращением моего варшавского времени, меняя место поста и лавочки: потом я видел его на углу Братской и Иерусалимских аллей, у входа в «Кристалл»¹, а через несколько лет – перед торговым домом «Братья Яблковские»². Менялись мои шляпы: то хорошие, то плохие, то дорогие, то дешевые. Какое-то время братнякская конфедератка, потом снова шляпы. Чешская шляпа из Моравской Остравы, голландская шляпа, шляпа, купленная в Риге за день до планируемого занятия Ковно Рыдзем³. Мы со Станиславом Роттертом⁴ должны были стать первыми польскими журналистами в Ковно (приехав со стороны Риги), по этому случаю я купил себе прекрасную плисовую. Я выросел и менял шляпы. Хранитель моего времени ветшал и седел все в той же выцветшей фуражке. При каждой встрече мы обменивались несколькими фразами без слов.

В бытность его перед вокзалом Варшава-Главная⁵ я часто путешествовал. В Польше, как оказалось, было что посмотреть. Одной из первых была поездка в гдыньскую глушь, на безнадежные дюны, к серому пустынному морю. Трудный, долгий и замысловатый путь, в

¹ Первоклассный ресторан, располагавшийся по адресу: ул. Братская, д. 16.

² Построенный в 1914 г. и действующий до настоящего времени универмаг, располагающийся по адресу: ул. Братская, д. 25 (здание в стиле модерн чудом уцелело в бомбардировках Второй мировой войны). До 1939 г. был крупнейшим универмагом Польши, предлагавшим посетителям товары по последней парижской моде (также с доставкой по почте); на 3 этаже размещалось кафе.

³ В 1919 г., в ходе Советско-польской войны, польская армия под командованием ген. Эдварда Рыдза по прозвищу Смиглы («проворный») заняла г. Ковно (Каунас), где располагалось литовское правительство.

⁴ Станислав Роттерт (1900–1962) – польский журналист, в молодости легкоатлет и чемпион Польши. Был спортивным обозревателем, а затем редактором нескольких варшавских газет.

⁵ Варшава-Главная, или Венский вокзал – главная железнодорожная станция Варшавы с 1845 до 1920 г. В межвоенное время было запроектировано новое монументальное здание вокзала в минималистичном стиле с элементами арт-деко, которое должно было стать одним из самых современных и больших вокзалов Европы. Однако строительство затягивалось, и до 1938 г. функцию вокзала на главной железнодорожной станции столицы выполняла временная деревянная постройка, а во время Второй мировой войны здание было полностью разрушено.

обход Гданьска¹, и только за тем, чтобы узнать: ни польского флота, ни каких бы то ни было польских судов нет в помине. Мы поздоровались, когда с чемоданом в руке я поднимался по ступеням вокзального подъезда. Диалог звучал: «Счастливого пути. Далеко ли, *шановны пан?*» «В Гдыню, вербоваться на судно!» Мы поприветствовали друг друга после моего возвращения, он ждал на прежнем месте, на лавочке. Диалог: «Ну и что, *шановны пан?*» «Фига с маслом».

Иногда он возникал то тут, то там спустя полгода или год. Пожалуй, чаще всего мы встречались, когда тот поджидал клиентов перед «Удзяловой»² на углу Иерусалимских и Нового Свята. Ему случалось видеть меня в обществе разных женщин. Он, очевидно, это запомнил, и диалоги звучали тогда примерно так: «А *пан шановны* теперь с женой, или как?» В ответ: «Еще нет, мне не к спеху». Он понимающе улыбался. Однажды мы столкнулись с ним на лестничной клетке одного дома на Крулевской. Я поднимался на четвертый этаж и увидел его выходящим из дверей, к которым как раз направлялся. Я нес завернутые в бумагу розы. Он глянул на меня, загадочно улыбнулся и сверх обычного покачал головой. Как он учуял, что я направляюсь именно к тем дверям? Потом я воссоздал диалог на той лестнице. «Зря вы так себя утруждаете, *пан шановны*». А вам-то какое дело? – строптиво подумал я. Мой барич черной кошкой пробежал между мной и дамой, которая сразу же открыла дверь на четвертом этаже, очень удивленная и озабоченная, вся покрытая румянцем, так как в этот момент разворачивала бумагу на розах, только что врученных ей посланцем. Эти розы были дороднее и победительнее моих. Из-за двери осторожно выглянул астральный, черный, ироничный кот в красной фуражке.

В свое время я совершил журналистский подвиг: в тот день, когда польская подводная лодка «Орел» прибыла из голландской верфи в Гдыню, варшавская вечерка «Курьер червонный» побила рекорд

¹ Гданьск, Гдыня – расположенные рядом портовые города на севере Польши, у Балтийского моря. 10 января 1920 г. согласно 11-му разделу 3-й части Версальского договора 1919 года был образован Вольный город Гданьск (нем. Данциг) – город-государство. На его территории находились собственно Данциг и свыше 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. В соответствии с решением Лиги Наций город не являлся частью ни Германии, ни Польши.

² Кафе «Удзялова» («Udziałowa») – одно из самых популярных кафе довоенной Варшавы, место встречи интеллигенции, артистов, литераторов.

информационного обслуживания. Еще не закончилась торжественная встреча в Гдыне, а газетные развозчики уже разносили по всей Варшаве «червонку» с подробным описанием торжества, речью генерала Казимежа Соснковского и даже большой фотографией всплывшего на поверхность «Орла» (снимок был сделан во время испытаний во Флиссингене, мы лишь слегка подретушировали флаг с голландского на польский военный). За сей подвиг я получил от административного директора «Дома прессы», незабвенного Антония Левандовского, премию: товарный купон на восемьсот злотых от «Братьев Яблковских». Директору Левандовскому это обошлось не слишком дорого, всего-навсего чуть больший формат объявления Торгового дома в одном из воскресных номеров «Курьера червонного», а мы с женой несколько дней ходили на Братскую и выбирали всякую всячину на этажах богато оснащенного, как теперь говорят, ЦУМа. (А в те времена с умом потратить восемьсот злотых было непросто: к примеру, штука жирардовского льна¹ стоила семнадцать злотых, первоклассные лаковые туфли двадцать пять, лошадка на полозьях семь пятьдесят, превосходный домашний халат шестнадцать, плитка шоколада – злотый). В последний день покупок, когда мы выходили из магазина, по уши нагруженные свертками и сверточками, он приподнял свою красную фуражку. На сей раз я не снял шляпы, а только кивнул ему в ответ, поскольку руки у меня были заняты. Диалог звучал: «Поди ж подфартило, *шановны пан?*» «А, подфартило, подфартило. Без труда не выудишь рыбку из пруда».

Одна из последних встреч произошла примерно в том же месте, где мой стражник впервые возник среди враждебного, холодного мира чужой мне Варшавы. Старого Венского вокзала с его мавританской башенкой уже давно не было, а двадцатью шагами дальше, там, где кончалась улица Панкевича, стояло громадное здание нового центрального вокзала. Строительство подходило к концу. Однажды утром часов около восьми в редакции «Курьера червонного» зазвонил телефон: горит Варшава-Главная. Техническая подготовка «червонщиков» была уже на таком уровне, что на место пожара моментально выехала редакционная машина с репортерами и фотографом. Фоторепортер вернулся

¹ Штука (полотна) – старая мера длины, не имеющая определенного значения, ткань в куске. В среднем равнялась 48 локтям. Жирардов – город недалеко от Варшавы.

через двадцать минут с готовой катушкой снимков. Поставили на ноги цинкографию, и не прошло и часа, как большое, в четыре столбца, клише было готово. Репортеры диктовали прямо на линотипы. В девять тридцать первая партия тиража отправилась в город с душераздирающим воплем разносчиков: «Пожар Варшавы-Главной, сенсация, таинственный пожар вокзала Главная, вокзал Варшава-Главная горит...!»

Разносчики на велосипедах неслись прямо на толпу, собравшуюся на тротуарах и мостовой в районе пожара. Кажется, тогда впервые применили пожарную лестницу-гигант, достигавшую девятого или десятого этажа. Пожар еще бушевал, на фотографии в «червонке» видна была лестница-гигант, а на самом ее верху – пожарный с рукавом. Пожарный еще торчал на лестнице, в чем толпа могла убедиться воочию. Я приехал на место пожара на машине вслед за развозчиками, газеты с еще не просохшей краской люди выдирали друг у друга из рук. Я вышел из машины у тротуара. В нескольких шагах от меня стоял он с «Курьером червонным» в руке, читал репортаж с места пожара. Мы поздоровались, как обычно. Он покивал головой с одобрением. Диалог звучал: «Молодцы эти газетчики, а, *шановны пан?*» «Точно, молодцы».

Это была одна из последних встреч. Последняя – пятого сентября 1939 года, в двенадцать с небольшим. Я пробежал наискосок через опустевшую в панике мостовую Краковского предместья. За мчащейся машиной с ревущей сиреной клубилась пыль. Из-за нее еще мелькнула мне в последний раз красная фуражка. Выли сирены. Я бежал к трамваю на углу Крулевской. Полицейский кричал: «В подворотню, в подворотню...» Далекая канонада сыпалась, как горох. Выли сирены.

Пятого сентября около одиннадцати нас вызвали в кабинет главного редактора издательств «Дома прессы» Хенрика Буткевича. Мы шли со смутной надеждой, что может, наконец-то... Какой-то проблеск правды – что происходит?... Вчера в газете мы написали, что наши «Лоси»¹ успешно бомбят Берлин, а вечером из-под Сохачева приехал на машине замглав, Вацлав Сыручек, привез оттуда свою Эвочку с каникул. Он собственными глазами видел близ Сохачева немецкие

¹ ПЗЛ-37 «Лось» (*PZL.37 Łoś*) – двухмоторный польский самолет-бомбардировщик времен Второй мировой войны.

танки. Собственными глазами! Кому верить? Своей газете? Сыручке? Что происходит, кому верить?..

У меня сохранился номер «Курьера червонного» третьего дня войны. Сводки добывал, в основном из радиосводок агентства «Хавас»¹, наш стенограф-«перехватчик» Богуслав Калясевич. Хаотичные и отрывочные сведения передавало варшавское радио. ПТА (Польское телеграфное агентство) тоже транслировало сводки, выхваченные из фантазийного «Хаваса, а также приводило коммюнике штаба Верховного главнокомандующего. Заголовки этим новостям обычно придумывал я. Вот они: шестиколоночный для передовицы «Курьера червонного»: «Шесть вражеских бомбардировщиков сбиты сегодня над Варшавой. Французские войска продвигаются вглубь Германии. Английский экспедиционный корпус на пути во Францию». На той же странице призыв правительства сохранять спокойствие, заканчивающийся словами: «Правительство заверяет все население, что под руководством Верховного главнокомандующего будет с величайшим напряжением сил и непоколебимой верой в победу Польши и ее союзников до самого конца вести дело обороны государства».

И дальше: «В Берлине, как в окопах, паника, отупение и отчаяние». «Шестьсот английских самолетов произвели бомбардировку Германской империи». На этой же странице пятое коммюнике Штаба Верховного главнокомандующего, переданное ПТА по телетайпу: «На юго-западном фронте наши войска сдерживают напор неприятеля. На линии Щерцув – Варга – Каменск идут ожесточенные бои. На познанском² фронте спокойно. Потери вражеской авиации: вчера мы сбили четырнадцать самолетов».

А Сыручек рассказывал, с каким трудом они окружными путями, по полям и бездорожью, продирались к Варшаве. Верить – не верить? Верить тому, кто своими глазами видел неприятеля под Сохачевом, то есть в преддверии Варшавы (люди, люди, немцы под Варшавой!) или бумажной ленте, с тихим щелканьем вылезавшей из телетайпа, что в Берлине паника? Шел четвертый день войны.

На пятый день около одиннадцати мы собрались в кабинете глав-

¹ «Хавас» («Navas») – французское информационное агентство.

² Познань – город на северо-западе Польши. 10 сентября 1939 немецкие войска захватили город и присоединили его к Рейху.

реда. Недовыспавшиеся, недомытые, уставшие, отупевшие. Почти круглые сутки мы проводили в наших редакциях на Маршалковской, 3, тут же и ночевали в импровизированной гостиной на раскладушках, на письменных столах, где придется. Питались как попало, в буфете на пятом этаже, в ресторане «Дом номер 2» напротив редакции. Как попало, что попало – во все возрастающем физическом и психическом хаосе. Работа над газетой превратилась в какую-то иррациональную игру в жмурки, машины функционировали как полагается, а люди у них метались, мысли прыгали шахматным конем.

Не знаю, кто и чем руководствовался при выборе из большого коллектива журналистов-сотрудников «Дома прессы» (несколько ежедневных газет с их местными разновидностями и несколько еженедельников) именно такого состава. В кабинете собрались: Здислав Бау, Александр Бергман, Вацлав Боровы, Кшиштоф Чижевский, Казимеж Грыжевский, Януш Ковалевский, Ян Намиткевич, Ян Велёвейский и я.

Главред был лаконичен: сейчас же ехать в Президиум совета министров на Краковское предместье, быть там в одиннадцать сорок пять. Важная конференция.

Был уже двенадцатый час. Снова завывло радио: «Внимание, внимание, город Варшава, воздушная тревога», и опять какие-то «шо-колад» и «Ка-роль»¹. Вот оно, снова. Мы до сих пор ничего не знаем. Узнаем на Краковском.

Поехали туда кто как, своим ходом. Такси не было и в помине, но некоторым повезло. Самые предусмотрительные поехали на редакционной машине. Я был в хвосте, едва успел на автобус «Б», курсирующий от площади Люблинской унии по Краковскому предместью. Автобус еле тащился, пока его, наконец, не пригвоздило воздушной тревогой на Мазовецкой. Нет времени переждать. Я бежал что есть мочи по Саксонской площади на Краковское предместье, во Дворец наместника² ввалился, наверное, последним. В большом зале налево от вестибюля стояло человек сорок, сплошь знакомые лица, журналисты всех варшавских изданий. Я поздоровался с одним и с другим, затем

¹ Зашифрованные сообщения противовоздушной обороны, передававшиеся по радио, когда имели место проблемы со связью.

² Дворец наместника, или Президентский дворец в Варшаве, расположен на улице Краковское предместье, 46/48.

в глубине зала открылись двери. Позванивая шпорами и посверкивая военными знаками различия, вошла группа во главе с коренастым человеком в штатском. Лицо знакомое: воевода Силезии¹, Михал Гражинский.

Среди военных также известные: полковник Выжел-Сцежинский, серый кардинал прессы; полковник Умястовский (а два дня спустя начнут свои бессмысленные скитания по дороге на Люблин «легионы Умястовского»²); полковник Адам Коц, шеф Лагеря национального объединения³; серый кардинал Славоя Складковского⁴ Ставиский из Министерства внутренних дел (и мой собутыльник на отвратительной, гротескной попойке у мадам Славой-Складковской в Помехувек⁵, но об этом как-нибудь в другой раз). Ставиский помахал мне радушно, как будто хотел приободрить, что все не так плохо.

Зал, залитый ярким солнцем. За окнами важно золотилась зелень деревьев. Было что-то ободряющее и в этом солнце, и в зелени. Ставиский наверняка знает, как обстоят дела на самом деле, этот ободряющий жест неспроста. А может, война окончена, и победа за нами? Берлин в руинах? Сокрушительный удар Англии и Франции, это ведь мощные державы.

Над дверями, в которые они вошли, висели огромные часы. Было без шести двенадцать.

Воевода окинул нас взглядом. «Здравствуйте, господа, – сказал он воинственным тоном. – Только что состоялся знаменательный акт...»

¹ Силезия – один из крупнейших административных округов (воеводств) Польши; во главе каждого воеводства стоит воевода – представитель центральной власти в своем регионе.

² Во время сентябрьской кампании полковник Роман Умястовский (1893–1982) был шефом пропаганды в Штабе Верховного главнокомандующего. 6 сентября он призвал жителей Варшавы участвовать в строительстве баррикад и укреплений ввиду угрозы немецкой интервенции, а всех еще не мобилизованных мужчин, способных держать оружие, немедленно покинуть город в восточном направлении и вступить в ряды армии.

³ Лагерь национального объединения (*Obóz Zjednoczenia Narodowego, OZN*, в просторечии *OZON*) – польская правительственная политическая организация «пилсудчиков», действовавшая в 1937–1939 гг.

⁴ Генерал Фелициан Славой-Складковский (1885–1962) – премьер-министр Польши в 1936–1939 гг.

⁵ Помехувек – деревня в сорока километрах от Варшавы.

Небольшая пауза. Он был хорошим оратором, умел произвести впечатление.

Этой паузой было сказано много. Знаменательный акт? Ну, конечно: знаменательный акт. Думаю, большая часть присутствующих мгновенно сопоставила все знаки на небе: капитуляция Германии, перемирие, начало переговоров с Гитлером. Чье-то могущественное вмешательство – папы римского, Лиги наций, да хотя бы Муссолини.

Воевода оглянулся назад, на часы. Стрелка передвинулась на минуту. Без пяти двенадцать.

«... господин президент назначил меня министром информации».

Пауза.

Все пропало: и капитуляция, и папа римский. Еще проблеск надежды, что вот он скажет что-нибудь необыкновенное, важное, уже в качестве министра информации. Сказал:

«Министерство временно располагается во Львове. Министерство функционирует во Львове с завтрашнего дня».

Не знаю, промелькнуло ли у меня это в голове, или кто-то рядом процедил сквозь зубы: «Без пяти минут министр, черт его подери...»

И последние слова министра:

«Прощайте, господа. Подробности вы узнаете от полковника Сцежинского».

Они повернулись к дверям под часами, бряцая шпорами, сверкая знаками различия. Нескольким коллегам-журналистам удалось достичь Сцежинского: что, как, когда, почему. Точная информация. Дайте нам точную информацию. Из хаотичных вопросов и ответов следовало только, что – как вы слышали – министерство с завтрашнего дня располагается во Львове, сегодня вечером во Львов отходит специальный поезд министерства с господином министром и с нами. С нами? Да, с нами, мы – сотрудники министерства. Подробные инструкции и время отправления поезда каждая редакция получит по телефону. Соберитесь.

Мы высыпали во двор и на тротуар Краковского предместья, каждый в свою сторону. Я проходил мимо подъезда «Бристоля», был без шляпы, поэтому только поднял руку в знак приветствия. Он засиял лысиной. Диалог: «Ну и что, *пан шановны*? Что с нами будет?» «Да вот, есть у нас без пяти минут министр, его и спросите». Завыли сирены

воздушной тревоги. Я пробежал наискосок через опустевшую в панике мостовую, на углу Крулевской стоял трамвай. За мчащейся машиной с ревущей сиреной клубилась пыль, из-за нее мелькнула мне еще раз красная фуражка. Полицейский кричал: «В подворотни! В подворотни!» Позади Саксонского сада горохом сыпалась далекая канонада.

Конец. Кто-то где-то: «Внимание, внимание, конец тревоги». Спазм кровеносных сосудов города прекратился, сердце города дрогнуло, преодолев смертельную паузу. Зазвонил, заскрежетал трамвай. По тротуарам задвигались люди. Затрубили клаксоны.

Я сидел у окна. У «восемнадцатого» была длинная трасса, с Праги¹ через все Краковское предместье и Новый Свят до Иерусалимских аллей, а по Иерусалимским до Маршалковской, по Маршалковской до площади Люблинской унии, где редакция.

Я сидел на лавке, совершенно беспомощный. Может, еще более беспомощный, чем когда-то – когда в той же самой Варшаве вошел в тоску слякотного майского вечера, делая первые шаги в темном, загадочном пространстве. Конечно, теперь я совершенно не помню, о чем думалось тогда, в полдень пятого сентября, долго-долго по пути от угла Крулевской и Краковского предместья до медной двери (она и сегодня та же) моей редакции на Маршалковской, 3. Скорее всего, думалось о чем-то насущном, например, что взять с собой во Львов. Дома не ахти с деньгами, нужно им что-нибудь оставить, слава Богу, что вырвусь из этого хаоса в редакции. Господи, кажется, на железной дороге страшная неразбериха, собачья будет езда.

Но помню сознание: круг замкнулся. Замкнулся, моего хранителя времени я больше не увижу. Варшавское время остановилось. Я еду во Львов. Сотни раз я уезжал из Варшавы, но этот раз – последний. Это не то путешествие, когда показываешь билетеру годовой проездной с твоим именем, выбираешь место поудобнее в купе первого класса, едешь туда-то и туда-то, затем-то и затем-то, и так же в купе первого класса возвращаешься в Варшаву, в редакцию, и прежде всего – домой, к семье, к своим тапочкам, к своей ложке, к своим книгам, к своему месту под солнцем. Временное местонахождение министерства – Львов? Это какой-то абсурд. Ведь неизвестно, что будет с войной, так почему же Львов? Правительство тут, министерство там? Министерство ин-

¹ Прага – район Варшавы на восточном берегу Вислы.

формации? Какой информации? В чем тут дело? Кого информировать? О чем?

Сознание, тогда еще смутное, но вскоре подтвердившееся окончательно и бесповоротно: круг замкнулся. С этим полусознанием, размышляя, скорее всего, о том, что нужно заскочить домой, взять необходимое, а потом уже в редакции ждать сигнала к отправлению на вокзал (наверное, мы соберемся вместе, Ясь Велёвейский, Боровы, Чижевский, вместе пойдем, так будет удобнее); размышляя, скорее всего, об этих делах, я смотрел сквозь стекло едва ползущего «восемнадцатого». Наверняка где-нибудь в подполусознании я отмечал то, мимо чего проезжаю:

Книжный магазин «Игнис», Краковское, семь. У этой витрины я когда-то разговаривал с подвыпившим Лехонем¹. Его, длинного, худого, стеклянно и недвижно всматривавшегося из-за очков в мой нос, досадно качало. Этот разговор, а точнее, полуразговор – я говорил толково, а он нес околесицу – бросил в моих глазах тень на всю его поэзию (и тень эта осталась до сих пор).

Университет. Целая эпоха, сколько раз и со сколькими я заходил в эти ворота, выходил из них. О воротах – в другой раз. Два самых важных факта про них: первый мой шаг в польской литературе, первая награда за первую написанную по-польски ерундовую новеллочку на конкурс Кружка полонистов. Второе: здесь я познакомился с Константи Ильдефонсом Галчинским²... Здесь ставила свои первые шаги наша дружба, которая в день его смерти была уже очень взрослой, ей было больше тридцати лет.

Дворец Сташица³. Первая квартира (одна огромная комната) моего дяди, профессора математики Антония Пшеборского, где он поселился после переезда из Харькова. В этой комнате как-то утром, когда я на минутку забежал к тетке Пшеборской, вдруг что-то дрогнуло в воздухе и бухнуло в подвале. В ту же секунду посыпались все стекла в окнах

¹ Ян Лехонь (настоящее имя: Лех Юзеф Серафинович, 1899–1956) – польский поэт, прозаик, литературный и театральный критик, один из основателей поэтической группы «Скамандр».

² Константин Ильдефонс Галчинский (1905–1953) – польский поэт, переводчик и драматург. Один из крупнейших национальных лириков XX в.

³ Станислав Сташиц (1755–1826) – польский государственный и общественный деятель, идеолог Просвещения, публицист, философ, ученый, писатель, меценат.

(окна были большие, штуки три или четыре). Тетка пережила шок. Это был взрыв в Цитадели. 1928 год¹.

Кафе «Кресы» на углу Варецкой. Большой зал, за ним поменьше, летом столики в палисаднике с калиткой на Варецкую, от которого сегодня осталось одно развесистое дерево. Целая эпоха, но о ней будет отдельно. «Кресы» – наше «квадриговское»² продолжение университета. Если бы это прекрасное, еще живое дерево умело говорить и записало бы на магнитофонную ленту свои воспоминания тех лет – 1924, 1925, 1926... Если бы! «Кресы» были последней страницей истории польской литературно-художественной богемы. «Малая Земянская»³ и Институт пропаганды искусства⁴ по сравнению с ними – это уже не богема, а ее глухой отголосок. По пути от Свентокшиской до Иерусалимских тут и там сказочные домики, бары и кафешки, какие сейчас никому и не снились. Во всех этих «Кокосах», «Асториях» и «Марсах» гость был поистину гостем, еда настоящей едой, водка не дешевой

¹ Цитадель – крепость в Варшаве, построенная в центре города по приказу царя Николая I после польского восстания 1830 г. Ранним утром 13 октября 1923 г. боевики военного отдела Коммунистической рабочей партии Польши взорвали склад с оружием, находившийся в крепости, в результате чего погибло несколько десятков человек.

² «Квадрига» («Kwadryga») – варшавская литературная группа, существовавшая с 1927 по 1931 г. и относящаяся ко второму авангарду. Члены группы объединились вокруг одноименного журнала; для их творчества характерно было критическое отношение к идее искусства для искусства, творчеству поэтов группы «Скамандр» (особенно Ю.Тувима), и, наоборот, приятие поэзии Ц.К. Норвида и С. Бжозовского. Квадриговцы не разработали собственной поэтической модели, однако их объединяет эклектизм, обращение к теме социального неравенства, пацифизм, бунт, отход от личного в пользу социальной проблематики.

³ «Малая Земянская» («Mała Ziemiańska») – знаменитое варшавское кафе межвоенного периода, располагавшееся в неоренессансном здании по адресу ул. Мазовецкая, 12; одно из мест встречи варшавской интеллигенции того времени: поэтов, литераторов, артистов, художников, а также профессоров находящегося неподалеку Варшавского университета.

⁴ Институт пропаганды искусства (*Instytut Propagandy Sztuki, IPS*) – организация, созданная в 1930 г. по инициативе художников и историков искусства с целью распространения современного польского искусства и в противовес консервативному Обществу поддержки изобразительных искусств (*Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych*). Институт располагался на ул. Крулевской, 13. В одном из залов находилось кафе, которое стало одним из наиболее излюбленных мест встречи варшавских художников и поэтов.

«водярой»), а водкой. Один из памятных вечеров в «Кокосе»: водка с Каролем Шимановским¹ и Збышеком Униловским². А потом мы со Збышеком провожали Шимановского до дома, в котором он жил, рядом с угловым на Варецкой. Мы долго стояли в подворотне и беседовали, а потом поворачивали обратно в «Кокос» на рюмочку, выпивавшуюся стоя у буфета. Снова провожали Шимановского, стояли в подворотне и возвращались в «Кокос», потому что разговор никак не кончался. Мы выпивали по рюмашке, провожали Шимановского... Ко всему, что я к нему питал, добавилось еще что-то очень личное: он так же, как я, прихрамывал на левую ногу. Первая встреча с Тувимом³: он вошел в «Кресы» по обыкновению стремительно, осмотрелся, присел к нашему столику (состав за столиком мог быть, например, такой: Станислав Рышард Добровольский, Святополк Карпинский, Люциан Шенвальд, Людомир Роговский, Александр Малишевский, Константы Ильдефонс Галчинский, Владзимеж Слободник). Глаза у него, как всегда, сильно блестели, но может, в этот раз сильнее: он только что кончил читать «Победу» Конрада (в ту пору книжную новинку). Прекрасная, прекрасная книга. Глаза его горели... Прекрасная, прекрасная вещь. Сколько ни возвращаюсь в своей памяти к Тувиму – всегда эти горящие глаза. Первое впечатление – горящие глаза.

Кондитерская Бликле⁴ (сегодня на том же месте, но совсем, совсем не та).

Аптека Малиновского на углу Хмельной. У этой аптеки подруга моей жены, шедшая с ней рука об руку, растянулась во весь рост, нечаянно споткнувшись об уланскую саблю, которую волочил за собой полковник Венява-Длугошовский. Вышел большой конфуз, много смеха и галантные извинения. Пожалуй, никогда еще бедняжке не салютовал такой элегантный полковник.

¹ Кароль Шимановский (1882–1937) – польский композитор, пианист, педагог, музыкальный критик. Одна из наиболее заметных фигур польской музыкальной культуры первой половины XX века.

² Збигнев Униловский (1909–1937) – польский прозаик, автор рассказов, гротескных миниатюр и повестей.

³ Юлиан Тувим (1894–1953) – знаменитый польский поэт и прозаик, один из основателей поэтической группы «Скамандр».

⁴ Кондитерская А. Бликле – самая старая в Польше, основана в Варшаве в 1869 г.

Кино, кино, кино, Джанет Гейнор, Грета Гарбо, «Броненосец “Потемкин”», «Потомок Чингизхана», Яннингс, Чаплин, непревзойденный Чаплин.

Кафе «Италия»: тут Збышек Униловский вытащил из кармана несколько исписанных каракулями листов. Не послушаю ли я, стоит это чего-нибудь или нет. Стоили, еще как стояли того эти первые пробы львиных когтей. Я был, кажется, первым слушателем первой писанины Униловского.

Подворотня перед «Удзяловой», здесь вход в квартиру Жицких на втором этаже. Жицкий – владелец «Удзяловой», а один из его сыновей – наш университетский приятель. В квартире у Жицких сенакли¹, как говаривал Константы, малость водки, больше вина, очень много поэзии. В сенаклях, например, Ежи Либерт, Владислав Себыла, Леонард Подхорски-Околув.

«Удзялова» – целая эпоха, еще до «Кресов». Мы, щенки, заглядывались на соседние столики, а там мэтры: Стефан Жеромский², Антоний Ланге³, Эдвард Слонский⁴, Владзимеж Пежинский⁵. Мы подслушивали, что они говорят. Как-то утром я пришел в «Удзяловую», с кем-то договорившись о встрече. Сел в полупустом зале, за соседним столиком сидел Жеромский, один. Я боролся с искушением: подойти, что-нибудь сказать, что-нибудь услышать. Не подошел, не сказал. Жеромский хмуро глядел на меня в упор, и я чувствовал, что почему-то ему не нравлюсь. Возможно, потому, что я тогда носил длинные волосы а-ля русский поп и бороду лопатой. Может, он думал, что я – молодой поп или дьякон. Мы довольно долго молча рассматривали друг

¹ Сенакль (*фр.* «Senacle», название кружка французских романтиков, куда входили Гюго, Нодье, Гюттенгер и др.) – обычно шутивное или ироническое обозначение литературного кружка.

² Стефан Жеромский (1864–1925) – польский писатель, драматург, публицист, продолжатель традиций польского критического реализма.

³ Антоний Ланге (1862–1929) – польский поэт, переводчик, философ-мистик, полиглот, литературный критик, драматург и публицист еврейского происхождения. Ланге причисляют к первому поколению поэтов Молодой Польши.

⁴ Эдвард Слонский (1872–1926) – польский поэт и прозаик. В своем творчестве обращался к романтизму, призывал к революционным общественным преобразованиям.

⁵ Владзимеж Пежинский (1877–1930) – польский драматург, поэт, автор повестей, новеллист периода Молодой Польши.

друга. Потом кто-то подошел к его столику, к моему, рассматривание закончилось, но я до сих пор помню это его хмурое, неблагосклонное наблюдение моей особы.

В «Новик», как тогда говорили про Новый Свят, в эти кафешки и киношки, к этим встречам и расставаниям на всегда шумной (а самой шумной, праздничной и развеселой к полуночи) пешеходной улице я еще не раз вернусь в своей памяти. Здесь в воскресенье третьего сентября около полудня перед зданием, в котором теперь размещается ЗАГС, я, стиснутый взволнованной толпой, салютовал в честь Англии. Посол или кто-то из посольства махал толпе рукой, а та воодушевленно скандировала: «Да здравствует Англия!», ибо только что разошлась весть об объявлении Великобританией войны Германии.

Вернусь не раз. «Восемнадцатый» поворачивал в Иерусалимские неподалеку от «Удзяловой». Мне тогда и в голову не могло прийти, что «Удзялова» вскоре станет «Nur für Deutsche»¹ или что через пять лет я буду стоять с Малишевским на углу Братской и Иерусалимских, а он покажет мне рукой, что в этом месте через мостовую раньше вел прокоп, страшная траншея, рана поперек улицы, а он полз на ту сторону под огнем, в дыму, вдоль баррикад, обстреливаемых с Маршалковской. В какой-то момент он зацепился шнурками ботинка о проволоку или что-то вроде, и в это мгновение смерть раздумывала: взять его или нет?

На углу Братской и Иерусалимских ресторан «Кристалл». Я проходил мимо, когда из дверей вышел ведомый кем-то под руку Казимеж Пшерва-Тетмайер². Страшный, пергаментный, заросший, дикий. Я приостановился, он взглянул на меня (хотя я был ему незнаком, ну разве что визуально по «Кресам», куда он захаживал за пирожным: съедал его у буфета и без единого слова выходил, не заплатив. Все это с молчаливого согласия варшавских кондитеров, ресторанистов и хозяина

¹ «Только для немцев» (*нем.*) – надпись, размещавшаяся в местах публичного посещения во времена Второй мировой войны в Третьем рейхе и в оккупированных им странах. Надпись обозначала, что данные места предназначены только для лиц немецкого происхождения.

² Казимеж Пшерва-Тетмайер (1865–1940) – польский поэт, прозаик, драматург. Потеря зрения и тяжелое психическое заболевание прервали литературную и общественную деятельность Тетмайера. В 1940 г. он был выдворен немцами из отеля «Европейский», в котором постоянно проживал, а затем скончался в больнице.

«Кресов», пана Сончевского), взглянул на меня безумными глазами и хрипло, громко крикнул: «А ты что здесь делаешь?» Я ничего не делал, случайно проходил. Я пожал плечами и пошел дальше. А он кричал что-то еще, не знаю, что. Было это вскоре после похорон его сына, он тогда окончательно помешался.

Дальше, ближе к Маршалковской, винный погреб и дегустаторская вин Триппенбаха. Однажды прекрасным варшавским июльским днем я получил в кассе Гебетнера и Вольфа¹ пять тысяч злотых (а это был новый «злотый Грабского»² после валютной реформы: килограмм сахара стоил, кажется, восемьдесят грошей, пара хорошей обуви двенадцать злотых, яйца у крестьянок из-под Варшавы по пять грошей, за недурной обед в столовой можно было заплатить шестьдесят грошей). Вино у Триппенбаха подавалось на широкие некрашенные столы в оловянных кувшинах. Сиживали шумной компанией на табуретах за широкими столами. Сиживала «Квадрига», сиживали друзья «Квадриги», сиживали друзья друзей «Квадриги». Жбан опорожнялся за жбаном, пелись песни, раздавались восклицания: «Да здравствует любовь капитана Паара!», ибо так называлась новелла, за которую я получил в кассе на улице Згода это ужасающее, невероятное состояние. А Юлиуш Каден-Бандровский, который занял третье, бесплатное место среди избранных авторов, узнав о моих пяти тысячах, загадочно сказал: «Что ж, из Кореи взят, в Корею и обратится»³. А Антоний Слонимский (на седьмом месте) тоже, говорят, нелестно обо мне выражался. Ирена Кшивицкая, которая была на восьмом месте, злопамятно насолила мне в печати: через добрых шесть или семь лет она писала для «Литературных ведомостей» рецензию на «Общую комнату»⁴ Униловского и

¹ Издательство «Гебетнер и Вольф» – крупнейшее польское довоенное книгоиздательское предприятие. После войны было национализировано и прекратило свою издательскую деятельность, а к 1957 г. и книжную торговлю.

² Валютная реформа Вл. Грабского – введенная 1 апреля 1924 г. в Польше монетная реформа, нацеленная на борьбу с гиперинфляцией. В итоге реформы польские марки были заменены на новую валюту – злотые, опирающуюся на золотой паритет (1 злотый равнялся стоимости 0,2903 грамма золота). Один злотый делится на 100 грошей.

³ С. М. Салинский детство и юность провел на корейско-манчжурско-российском пограничье.

⁴ «Общая комната» («Wspólny pokój») – дебютантская повесть Збигнева Униловского, написанная в 1932 г. Под вымышленными фамилиями представлены ре-

упомянула, что среди жителей той комнаты был и «один свихнутый писака с бородкой». Этот свихнутый писака – я! Жаль, что Холубек¹, изображая Дедусю в послевоенной экранизации «Общей комнаты», очевидно, не знал этой рецензии. Может, он бы свихнул меня на экране? Лишь только Рафал Мальчевский (на пятом месте), который постоянно проживал где-то в горах, а в то время кружил по Варшаве, при встрече спонтанно поздравил меня с успехом и попросил одолжить ему сто восемнадцать злотых, ибо именно столько ему было нужно, чтобы вернуться домой. У меня не было при себе ста восемнадцати, я дал ему сто двадцать. Вечером он нашел меня в «Кресах», вернул два злотых, и на этом наши финансовые связи навсегда прекратились. Дружеские остались. Насколько я помню, он также подключался к жбанам у Триппенбаха.

Там, где Аллеи сворачивали в Маршалковскую, над Окенче клубилась, взбиваясь в небо, ржавая туча. Потом мы узнали, что это горели разбомбленные полчаса назад ангары. Мы смотрели на это грозное зрелище, в вагоне было тихо, как вдруг кто-то сказал: «Это на Воле». Все смотрели на него настороженно и подозрительно: откуда ему известно, что на Воле? Уж не шпион ли? Варшаву, да пожалуй и всю Польшу, охватила шпиономания. Всяк чуял в ближнем врага, враг таился на каждом шагу, отовсюду выползал страх. «Восемнадцатый» подъезжал к площади Унии, остановился у самого входа в «Дом прессы», я выскочил и побежал к двери, когда вновь застонали сирены воздушной тревоги. Портъе, Генек Похль, остроглазый, всеведущий доверенный, встретил меня в вестибюле вопросом: «Ну, что там было на конференции, пан редактор?» Я ответил: «Да ничего, ничего» и побежал к лифту, поскольку увидел, что в него входит Хергель. Не придется подниматься на третий этаж по лестнице. Машинист-техник Хергель, немец, был механиком, ответственным за консервирование ротационных машин, недавно купленных «Домом прессы» в Германии. Это были

альные лица. Действие повести происходит на рубеже 20–30-х гг. в среде варшавской богемы, в частности, связанной с литературной группой «Квадрига».

¹ Густав Холубек (1923–2008) – польский актер и театральный деятель, депутат Сейма, сенатор, педагог.

дорогие современные машины (кажется, они до сих пор работают в типографии на Маршалковской, 3). Фирма приставила к ним собственного механика, этого вот Хергеля. Он плохо говорил по-польски, но иногда создавалось впечатление, что он специально коверкал наш язык – во всяком случае, отлично его понимал. Хергель был в здании вездесущ днем и ночью. Владения его, ротационные машины, находились на первом этаже, но повстречать его можно было всюду. В неказистом рабочем комбинезоне он крутился и в цинкографии, и в коридорах редакции, подсаживался к столикам в буфете, кружил по наборному цеху, болтал с типографами. Хергель тут, Хергель там, любезнейше-обходительный. Хороший специалист, хороший немец. В лифте он спросил: «Как пыло на конференции, пан ретактор?» Я ответил, кажется, то же: «Да ничего, ничего». И вышел на третьем этаже у кабинета Буткевича.

Генек Похль, хранитель множества ключей и секретов «Дома прессы», после вступления немцев немедленно объявил себя фольксдойче¹. Он отдавал немцам, производившим реквизицию здания, все ключи и секреты, вместе с ними потрошил наши редакционные столы, перепархивал архивы. А добрый немец Хергель, первоклассный гитлеровский прислужник, вышел в нацистском кителе поприветствовать соотечественников в Варшаве и сразу же был назначен тройхандером² всех варшавских типографий. Он знал наперечет все фамилии, все типографские дела. Кто с ним встречался во время оккупации, говорили, что когда требовалось, он прекрасно владел польским языком.

Мы все собрались в кабинете Буткевича тем же составом, что в Президиуме совета министров. Он уже получил по телефону инструкции из Президиума: поезд Министерства информации отходит во Львов с Восточного вокзала в двадцать три часа. Он сам, Вацлав Сыру-

¹ *Volksdeutsche* (нем.) – до 1945 года обозначение «этнических германцев», которые жили в диаспоре, то есть за пределами Германии.

² *Threuhänder* (нем.) – доверенное лицо. Во время Второй мировой войны на оккупированных Германией территориях управляющий отдельными реквизируемыми предприятиями или имуществом ликвидированных организаций и обществ. В Польше в 1940 г. было около 1,2 тыс. «тройхандеров» – в основном, это были немцы, проживавшие в Польше еще до войны или переселившиеся из прибалтийских стран.

чек и Станислав Капусцинский (главред «Курьера червонного») также едут, но на машине через Люблин. Встречаемся завтра в Люблине, не исключено, что некоторые останутся пока в Люблине, возможно, будем там выпускать специальную локальную разновидность «Курьера червонного».

Директор Левандовский посоветовал обратиться в кассу. Все уезжающие получили трехмесячную выплату. Кадровик делал пометки в трудовых книжках. В моей, сохранившейся до сих пор, стоит: «Уволен по причине обстоятельств непреодолимой силы 5 сентября 1939 года». И печать: «Дом прессы».

Мы все договорились встретиться в девять вечера в помещении редакции, оттуда вместе двинемся на Восточный вокзал. Два часа, времени достаточно. Когда без четверти девять я заглянул в редакцию, из будущих своих спутников застал там только Вацлава Борового. Другие или уже были в редакции и поехали на вокзал, или вообще поедут прямо из дома. Мы подождали еще немного, никто больше не появился. Атмосфера становилась все напряженнее. По редакции металась наша буфетчица с пятого этажа, обыкновенно приветливая и отзывчивая, теперь же крайне озабоченная. Почти каждый из нас был ее должником, так как она легко и охотно продавала в кредит, записывая сумму в тетрадке. Теперь она ко всем приставала, прося вернуть хотя бы часть долга. Богуслав Каляевич был чуть живой, уши у него опухли от наушников: уже пять дней он практически непрерывно дежурил у радиопрослушки. В обыкновенно упорядоченных и аккуратных редакциях теперь царила неразбериха. Буткевич, как всегда своим бархатным баритоном, поправляя на глазу монокль и выговаривая букву «а» ближе к «э», безапелляционно доказывал, что теперь наше положение улучшится, раз функция надлежащего информирования общества через прессу и радио перейдет к министерству. Необходимость такового уже давно назрела. Мы недооценивали, например, пропагандистскую и информационную деятельность доктора Геббельса в Германской империи. Даже у врагов нужно учиться. «Дэ, господа...»

Мы с Боровым вышли на улицу. Я в последний раз пересек порог здания, в котором отбарабанил девять лет жизни (вновь пересек я его лишь через пятнадцать лет, в связи с одним дельцем к Стасю Роттерту, секретарю «Жиче Варшавь»). Мы вошли в темноту, ни проблеска,

ни лучика света. Горели лишь неверные сизые огоньки затемненных фонарей в подворотнях. Редкие, опустевшие трамваи, тоже с затемненными стеклами. О такси, о дрожках думать нечего. Пришлось идти на вокзал пешком.

Вскоре показалась луна, огромная и прекрасная, и осветила площадь Спасителя¹. Как у Галчинского: «А ночь и луна – это лунная ночь»². Мы шли и шли сквозь эту ночь, по лунным улицам, меж притаившихся домов, в которых были тысячи и тысячи людей, а сами дома – слепые и омертвелые. С угла Аллей видна была пустынная перспектива Нового Свята, в лунной магме проступали человеческие фигуры, непохожие на человеческие. Луна поднималась по небу за Вислой, над городом ползла украдкой тишина. Какое облегчение, что по ночам пока не было налетов и этих сирен.

Несколько минут мы с Вацеком отдыхали, опершись о перила моста Понятовского. Под огромной луной – темная притаившаяся Висла. Я долго не увижу ее, до конца декабря, да и то как снежную насыпь. В декабре того года ударили сильные морозы.

Около одиннадцати вечера мы с Боровым добрались до Восточного вокзала – прямиком в кошмарный хаос. Первое зловонное дыхание войны: переход под перронами забит человеческой массой, какими-то беженцами откуда-то, солдатами, узелками, детьми, скарбом. Все вповалку, сбитое в одну человеческую глыбу. Детский плач, вопли, темнота и неразбериха. Неразбериха на перронах, и здесь плотная масса людей, чемоданов, сундуков, детей. Абсолютная невозможность получить информацию у кого бы то ни было, где стоит этот поезд министра информации, где и какие поезда до Львова? Единственное освещение перронов – лунное. «А ночь и луна – это лунная ночь»...

Мы с Боровым кролем продирались через эту неразбериху. Вскоре начали встречаться знакомые лица: Зингер из «Нашего Пшеглёнда», Вандель из «Утреннего», несколько из «Последних ведомостей», наш Казек Грыжевский, Намиткевич. Еще кое-кто. Мы определили местом сбора один из газетных киосков на перроне. Кто-то из нас пошел к по-

¹ Площадь Спасителя (*Plac Zbawiciela*) – круглая площадь в южной части центра города, расположенная на оси ул. Маршалковской.

² Строка из стихотворения Константы Ильдефонса Галчинского «Описание дома поэта». В переводе А. Домашева: «Когда луна и ночь, то ночь – полна покоя».

ездному диспетчеру, вернулся с известием, что диспетчер сам абсолютно ничего не знает, но да, поезд Министерства информации есть. Должен отправиться во Львов в ноль часов, но с Гданьского вокзала. Не с Восточного, а с Гданьского, это наверняка! Некоторые журналисты здесь уже были и давно поехали на Гданьский...

Нельзя было терять времени. Мы двинулись (нас накопилось уже несколько человек из «Дома прессы») на Гданьский вокзал, полушагом, полубегом: скоро двенадцать. В нас еще теплилась вера в пунктуальность поездов, в скрупулезность часов. Полушагом, полубегом, полубегом. Короткий перекур и – полубегом, полубегом, полубегом. Можно было бы повернуть домой, на Одолянскую. Кое-кто из нас слишком поздно сообразил, что надо было плюнуть на весь этот Львов и все это министерство и повернуть домой. Скоро пойдут дневные трамваи, с восточной стороны небо начинает сереть. На трамвае домой.

На той вращающейся пластинке, под присмотром хранителя моего времени, я совершил в Варшаве только два таких похода в никуда. Долгих пеших прогулок было много. Многочасовые блуждания по сонным улицам с Галчинским. Километровые прогулки в парки, из парка в парк, из парка в парк, под руку с... Ах, стоит ли силиться вспомнить, ведь из памяти вылетело не одно имя. Долгие хождения с Умедой¹ далеко за Служевец², где он тогда жил в причудливом архитектурном памятнике за виллой Круликаря, уже недалеко от Вилянуба³. Константы назвал это строение «Yellow Inn» – «Желтый двор». В башню к Умеди можно было попасть, только взобравшись по малярской приставной лестнице. Походы к Умеди, от Умеды, с Умедой. Долгие блуждания по улицам со Стефаном Флюковским, с Рышардом Добровольским, про-

¹ Станислав Умеда (яп. *Umeda Ryōchū*, при крещении принял имя Станислав, 1899–1961) – японский историк, первый преподаватель японского языка в Варшавском университете, переводчик и популяризатор японской культуры в Польше и польской в Японии.

² Служевец – в настоящее время район Варшавы на Мокотуве, до 1938 г. – деревня, прилегавшая к городу.

³ Вилянуб – район Варшавы на левом берегу Вислы, на юге города, граничащий с Мокотувом и другими районами. До 1951 г. был самостоятельной административной единицей (гминой), затем присоединен к территории столицы.

вожания Хальшки Бучинской¹ от Пулавской до самой ее квартиры на Банковской площади. Прогулки в одиночестве. Однажды мы с Тадзем Зайончковским дошли аж до Вилянува, ну мы и натопались! Коллективные шествия далеко на окраины Воли, где у нашего приятеля из интендантской службы были припасены для друзей ящики вина. Не бутылки, а ящики. Вылазки с Эдвардом Бойем² далеко-далеко на Непоренцкую улицу на Праге.

Можно долго перечислять эти прогулки и походы, долго считать эти длинные, длинные километры. Но лишь два путешествия были в никуда. У всех остальных был конечный пункт: дом. Был ли это дом моей матери, или после ее смерти комнаты (правда, с поднаймом, но собственные), или потом – свой дом. Только два одиноких похода в никуда.

Второй в никуда это как раз тот поход от площади Унии на Восточный вокзал и с Восточного на Гданьский, где, действительно, стояли два пульмановских вагона для журналистов и третий – закрытый, с зашторенными окнами, молчаливый и загадочный. Ясно, что для министра информации. Никто не знал, когда все это должно отправиться во Львов, в никуда. Что в никуда, выяснилось уже на следующий день: прицепленные к поезду вагоны наконец тронулись, чтобы в первый раз застрять в Отвоцке, где оказалось, что дальше налаживают пути, только что сорванные немецкими бомбами. Что в никуда – я это понимал, усаживаясь на сиденье в вагоне министерского поезда. Вагоны были уже заполнены, опаздывающие еще подтягивались по одному. Стало совсем светло. В общей сложности был полный состав с конференции у министра информации.

А первый поход в никуда – из Городка за Повонзками³ к гостинице «Роял», первый мой ночной поход по Варшаве, долгий, долгий, по

¹ Стефан Флюковский, Рышард Добровольский, Хальшка Бучинская – польские литераторы, члены «Квадриги».

² Эдвард Бой (1897–1943) – польский переводчик с итальянского и испанского языков, редактор студенческого журнала Варшавского университета «Pro Arte et Studio».

³ Повонзки – территория на северо-западе Варшавы, входящая в районы Воля и Жолибож (деревня Повонзки включена в состав города в 1916 г.). В зоне современных Повонзок находится несколько кладбищ, в том числе Старые Повонзки, где покоятся заслуженные деятели культуры, публицисты и политики.

трамвайным путям, по трассе «первого», идущего от кладбищенских ворот на Повонзках по улицам еврейского квартала, Медовой, Краковскому предместью и Новому Святу. Я был уже в курсе, что «первый» останавливается на углу Хмельной и Нового Свята и что отсюда я дойду до моих клопов в «Рояле». Но «Роял» не был домом, он был ничем, всего-навсего ночлегом. Путь нога за ногу через лунную майскую Варшаву вел в никуда, только на ночлег.

Когда я вышел из Городка в направлении моего ночлега, у меня сильно шумело в голове от спирта, выпитого с бывшими солдатами шайки Балаховича¹. Но уже возле кладбища я протрезвел и почувствовал густой запах из-за стены – той самой, что в Городке, сирени. *Японская сирень*². Нет, за ней не шумел океан. Мой Владивосток был на луне, мой океан, мой дом. Стрелка на часах настоящего времени недвижно застыла на букве «N», первой букве слова, обозначающего глубокую человеческую удрученность.

Итак, я опустил в ящик ложь о Варшаве, с чувством полной бессмысленности происходящего. Там, куда я писал (какими путями и дорогами будет идти эта карточка с памятником Мицкевичу – до Марселя, а оттуда пакетботом до Японии, а из Японии как-нибудь во Владивосток? Или через Лондон и Америку, два океана, Атлантический и Тихий? Через сколько рук она пройдет, пока не попадет к отцу?)... там, куда я адресовал эту карточку, теперь ночь. Родители поужинали и готовятся ко сну. Над Золотым Рогом горят майские звезды. А тут полдень, Варецкая площадь. Какая-то Варецкая площадь... Что значит: «Варецкая»³?

Еще в Триесте я получил в консульстве не слишком точные сведения, что в Варшаве есть сборный или информационный пункт для

¹ Станислав Никодимович Булак-Балахович – военный и политический деятель эпохи Гражданской войны в России, генерал российской Белой армии и Войска Польского.

² Курсивом помечены фрагменты, данные автором на русском языке.

³ В настоящее время: площадь Варшавских повстанцев. Расположена в центральной части Варшавы. Площадь была спроектирована в 1823 г. и изначально называлась площадью Иисуса, а в 1870 г. была переименована на Варецкую площадь, т.к. располагалась на земле Йозефа Пулаского, старосты города Варка. В 1957 г. площади было присвоено современное название.

приезжих и эмигрантов с Востока. Через два порта, Триест и Марсель, тянулись тысячи европейских репатриантов, возвращались части бывших российских военнопленных из Сибири, возвращались гражданские из эмиграции. Единственная дорога назад вела через Владивосток и японские порты, вокруг Азии, на Средиземное море. Триест был европейским этапным пунктом для поляков. Кроме бывших пленных, солдат Пятой сибирской дивизии¹, возвращались тысячи поляков, разбросанных эвакуацией из *Привислинского края* в 1915 году по необозримым просторам Империи, от Москвы до Тихого океана. Возвращались поляки, много лет назад осевшие на Дальнем Востоке, бывшие русские чиновники, инженеры, врачи, промышленники. Значительную часть интеллигенции и людей свободных профессий во Владивостоке составляли поляки. Теперь они разрывали давнишние узы с тем краем, возвращались в независимую Польшу, жить здесь, работать, стареть, учиться. Завершалась одна из глав в истории большой польской диаспоры.

Сборный или информационный пункт в Варшаве назывался Городок. Название это я услышал в триестском консульстве. Периферийный район Варшавы, кто-то в консульстве даже знал, что, кажется, рядом с Повонзками.

Я опустил карточку на луну. Справился у прохожих, какими дорогами, на каком трамвае на эти самые Повонзки. На «первом» до кладбища, а дальше пешком. Недалеко, там покажут. Городок, бараки для беженцев или чего-то в этом роде.

Хорошо было ехать на трамвае по еврейскому кварталу: далекое многоголосое эхо за шанхайскими Воротами Монтобан, что-то от китайских кварталов Гонконга и от суков² Александрии, человеческое скопище, шум и гам, беготня и пыль, будто огромный котел, в котором бурлят и переливаются люди и вещи. Что-то знакомое, владивостокское: так выглядели окрестности Семеновского базара. Но там – китайцы. Кое-что из китайской трескотни я понимал. Тут – ничего.

¹ Пятая польская дивизия – национальное соединение в составе Русской армии адмирала А. В. Колчака. Сформирована в Сибири в мае 1919 г. в основном из польских военнопленных, воевавших в Первой мировой в рядах германских и австро-венгерских войск. Численность дивизии составляла более 11 тыс. человек.

² Сук (из арамейск. *šūqā* – улица, магазин) – восточный рынок.

Я сошел у ворот кладбища. Долго, долго вдоль кладбищенской кирпичной стены, дальше по указаниям, Татарская улица. Магометанское кладбище. Татарская – хорошее название, более близкое сердцу, чем какая-то там Маршалковская или Крулевская. Татарская – это нечто из моего тысячекилометрового края тайги, тундры и песчаных пустынь. Потом, за железнодорожным переездом, далекие, синеющие лесами горизонты, не крутой вихрь улиц и переулков, а более приятное для легких дуновение дальней дали. Потом этот городок: район-не район, квартал-не квартал, скопище бараков, ветхих одноэтажных домишек, некоторые типично дачного вида, с крылечками, с баясинками, окошки с геранями и фуксиями. Любопытные, пугливые взгляды из-за занавески. Зелень и сирень, много, много сирени. Знакомый запах: так пронзительно и сильно пах издали весь сквер Невельского на крутом откосе, спускавшемся к изумрудам и сапфирам Золотого Рога, поросшем густыми шпалерами сирени, которые называли японскими. *Японская сирень* – изюминка сквера Невельского. Оле, Зине или Марусе говорили: «Пройдемся на японскую сирень». Приглашали не на прогулку в парке, а на японскую сирень.

Сиренью цвела в мае и вся Первая Речка, северные окраины Владивостока. В бараках и «дачах» Городка было что-то от бараков и дач Первой Речки. Но там прямо за стеной сирени начинался Тихий океан. Но сирень в Городке пахла по-японски и можно было нарочно обманываться, что за ней, как и там – океан. Солнце клонится к западу, сейчас зашумит вечерний прилив, из-за сирени пахнёт йодом и водорослями.

И – о чудо! – уже давно мною не слышанный русский язык. Какой-то Ваня в потертой военной шинели со следами офицерских отличий зазывал через всю улицу между «дачами» какого-то другого Ваню. Я тут же подступил к первому Ване и спросил (естественно, по-русски), где тут пункт информации, адресное бюро или что-нибудь в этом роде. Мне надо было уловить нить фамилий друзей и знакомых, которые прежде меня выехали из Владивостока в Польшу.

Незнакомый Ваня, при ближайшем рассмотрении человек благородных манер, не знал, есть ли в Городке пункт информации или адресное бюро. Пожалуй, нет, адресное бюро находится в городе, в Радушье на Театральной площади. А потом мне: «*А вы откуда?*»